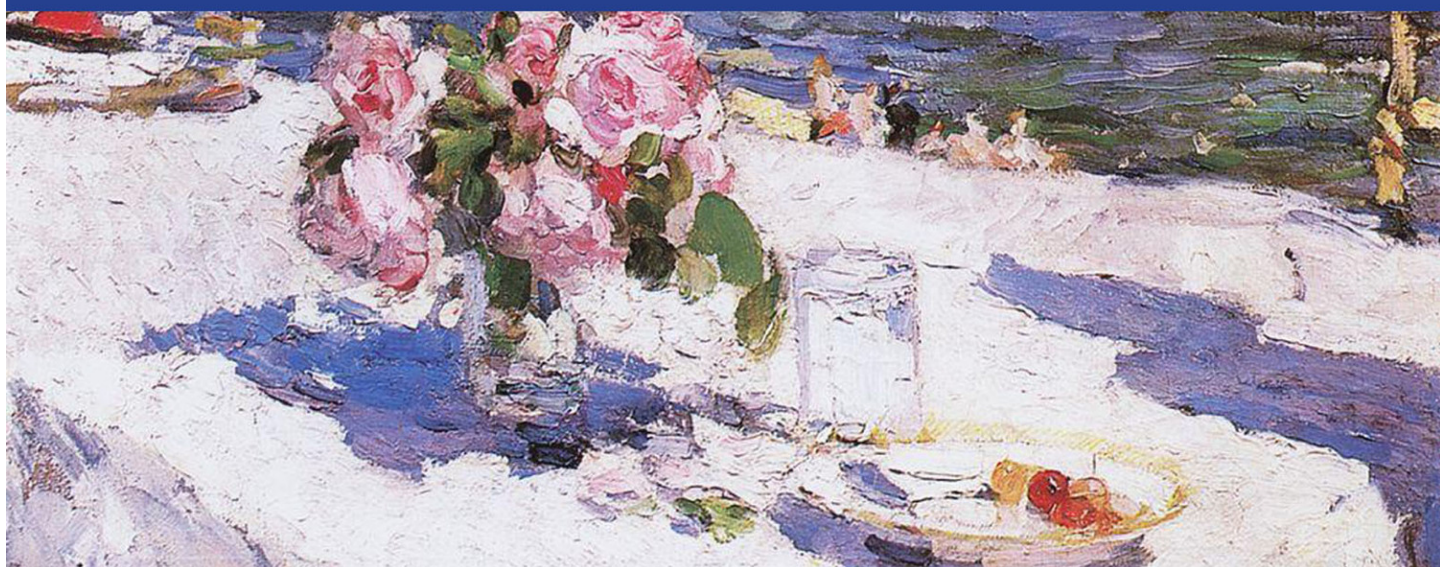




# И. Грекова

## На испытаниях

*ФТМ*



Ирина Грекова  
**На испытаниях**

«ФТМ»

1967

## **Грекова И.**

На испытаниях / И. Грекова — «ФТМ», 1967

Они уезжали, а он оставался. Потом они улетят в Москву, всякие там свои диссертации писать, а он опять останется. В степи, в жаре, в мошке. Жара не жара – вкалывай. И всегда так. Приедут, поглядят, покритикуют – и снова к себе, на север. Дождь у них идет. Мостовые блестят, девушки в разноцветных плащах, как розы. Москвичи, сукины дети.

© Грекова И., 1967

© ФТМ, 1967

# И. Грекова

## На испытаниях

*Памяти Ф.В.*

Полетный лист: 1.07.1952 г. Бортовой N 18942  
Командир корабля л-т Ночкин А.В.  
Список пассажиров  
N в/звание..... Ф.И.О... Примечание  
1 генерал-майор ИТС Сиверс А.Е.  
2 инж. – подполковник Чехардин Д.Г.  
3 инж. – майор..... Скворцов П.С. ответств.  
4 гражд..... Теткин Н.Т.  
5 гражд..... Ромнич Л.К.  
6 гражд..... Джапаридзе М.Г.  
7 гражд..... Манин И.Ф.  
Начальник О.П.Луговой (подпись)

### 1

Летнее подмосковное утро только еще начинало просыпаться, потягивалось. Полежав за ночь, седая от росы трава потихоньку выпрямлялась, скатывая по усам тяжелые ртутные капли. Деревенскими голосами перекликались петухи. На летном поле неподвижно застыли самолеты, похожие на больших, чем-то озабоченных рыб. Раннее солнце ярко отсвечивало на скошенных крыльях. Тугой прохладный ветер надувал над метеобудкой длинный шахматно-клетчатый «чулок». Ветер был с северо-запада, благоприятный.

У служебного здания на низких скамейках, поставленных буквой "П", расположились люди с чемоданами в ожидании вылета. Опрятный желтый песок площадки, надпись на фанерном щитке "Курить только здесь", урны, сделанные из корпусов авиационных бомб, – все это придавало обстановке деловой, аэродромный характер.

Ответственный за предстоящий полет майор Скворцов, высокий загорелый офицер в полевой форме, узко перехваченный в поясе ремнем, быстрым, озабоченным шагом переходил с места на место и казался поэтому находящимся сразу везде. Стальной нержавеющей зуб сверкал у него во рту. На большом ящике с черной надписью "Не кантовать!" сидел немолодой худощавый генерал, зябко засунув руки в рукава серого плаща с голубыми петлицами. Он как будто спал. По крайней мере, глаза его за стеклами очков были покойно закрыты. Несколько человек хлопотали у багажа. Высокая женщина в брюках, циркулем расставив длинные ноги, осторожно передвигала ящики с приборами. Ей помогал среднего роста, плотный человек в гражданском, с блестящей коричневой лысиной. Он для чего-то поднимал каждый ящик и, покачивая, подносил к уху. С одним ящиком он замешкался и поднял палец.

– Теткин, в чем дело? – спросила женщина.

– Перекат содержимого, – с видимым удовольствием ответил Теткин. Недопустимый перекал содержимого.

– Фу-ты, как пышно, – сказал, прислушавшись, артиллерийский офицер с изможденным лицом и блестящими, неистово-светлыми глазами. – "Перекал содержимого"! Замечали, как любит казенщина обрастать цветами красноречия? Современный церковнославянский язык!

На днях еду по улице и читаю – что бы вы думали? – надпись: "Объезд разрытии"! Каково громыхание? Истинный перл канцелярской поэзии. Слог, достойный Тредьяковского!

Худощавый генерал приоткрыл один глаз и спросил:

– Кто здесь поминает Тредьяковского?

– Я, товарищ генерал.

– А, подполковник Чехардин! Рад вас видеть. Я тут приспнул немного и слышу: голос как будто знакомый и, как всегда, разводит демагогию. Насчет Тредьяковского вы зря. Читали вы его? Или так, понаслышке, судите?

– Должен признаться – понаслышке, – ответил Чехардин, скомкал папиросу и сразу же зажег другую. – Не успеваешь как-то следить за современной литературой.

– А напрасно. Надо бы прочесть. А ну-ка, кто из присутствующих читал Тредьяковского?

Теткин с готовностью открыл рот и сказал:

– Екатерина, о! поехала в Царское Село...

Генерал сморщился, как от боли.

– Ну, вот. Снова я слышу про эту несчастную "Екатерину, о!". Это апокриф.

– Что, товарищ генерал?

– Апокриф, – повторил генерал. – К вашему сведению, апокрифом называется произведение на библейскую тему, признаваемое недостоверным и церковью отвергаемое. Убежден, что никакой "Екатерины, о!" Тредьяковский не писал. Это был один из величайших поэтов России! Вот, например... Генерал нахмурился и, понизив голос, торжественно произнес:

Вонми, о небо, я реку!  
Земля да слышит уст глаголы.  
Как дождь я словом протеку,  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на доли...

– Айв самом деле неплохо, – заметил Чехардин.

– "Неплохо"? Замечательно! Какое величие, какая сила! "Вонми, о небо, я реку!" Ну, кто еще из российских поэтов решился бы так, запросто, разговаривать с небом?

– Маяковский, – сказал Чехардин. – "Эй вы, небо!"...

– А? Правда, я и забыл. – Генерал снова закрыл глаза.

Прерванный спор Теткина с длинноногой женщиной возобновился.

– Так вы же сами паковали, – досадливо сказала она, – а придираетесь.

– Самокритика – движущая сила, – ответил Теткин и засмеялся. Засмеявшись, ой сразу похорошел. Зубы у него оказались крепкие, крупные, выпуклые, как отборные ореховые ядра. Блестящая приветливая лысина его не старила.

Майор Скворцов подозвал к себе Теткина.

– Кто такая? – спросил он вполголоса, указав подбородком на женщину.

– Это? Лидка Ромнич, наш конструктор. Мировая баба, даром что тощая. А ты разве ее не знаешь?

– Что-то слышал. Из группы Волкорезова, по боевым частям?

– Ага.

– Я думал, Ромнич – мужчина.

– Многие так думают. А как она тебе?

– Больно уж некрасивая.

– А по-моему, ничего. Впрочем, я уже привык.

Из служебного здания вышел высокий вялый летчик в обвисшем комбинезоне. Скворцов подошел к нему.

– Послушайте, где тут все ваше начальство?

– А что?

– Мы с группой сотрудников и багажом прибыли для специального рейса в Лихаревку. Полетный лист у меня. Вылет назначен на шесть сорок. Почему не дают вылета?

Скворцов говорил с военным щегольством, подчеркивая официальность и беглость речи. Летчик, не отвечая, уминал табак в трубке.

– Кто командир корабля? – спросил Скворцов.

– Ну, я, – неохотно ответил летчик.

– Я вас спрашиваю, когда вылет?

– Когда полетим, тогда и полетим.

Скворцов обозлился:

– Потрудитесь отвечать, как полагается, и назвать себя.

Летчик неохотно вытянулся:

– Командир корабля лейтенант Ночкин.

– Так вот, товарищ лейтенант, я вас спрашиваю: почему задерживаете рейс?

Летчик снова обмяк в своем комбинезоне и задумчиво сказал:

– Погоды не дают.

– Ерунда! Я справлялся на метео: погода есть. В чем дело?

Лейтенант Ночкин указал трубкой на Лиду Ромнич:

– Членов семейства на борт не беру. Не имею права.

– Что за бред! Это не член семейства, а конструктор боевых частей. Конструктор Ромнич. Неужели не знаете? Эту женщину во всем Союзе знают.

– Не знаю, – сказал Ночкин. – Все равно – женщина. С женщиной на борту не полечу.

Пока не будет специального распоряжения.

– Так она же внесена в полетный лист! Смотрите, под номером пять Ромнич Л.К.

– Мало ли что внесена. В полетный лист и кошку внести можно.

Ночкин стукнул трубкой по колену, отвернулся и пошел к небольшой двустворчатой будке, ярко сверкавшей на солнце свежими буквами "М" и "Ж". Не туда же за ним идти? Скворцов вернулся к ожидающим.

– Что там за задержка? – спросил генерал.

– Командир корабля лейтенант Ночкин отказывается брать женщину на борт.

– А разве с нами женщина?

– В некотором роде. Ромнич, конструктор боевых частей.

– Вот уж истинно сказано, – съязвил Чехардин, – "где кончается порядок, начинается авиация". На вашем месте поставил бы я этого Ночкина по стойке "смирно", по уставу, как положено стоять перед старшим по званию...

– Нет, – возразил Скворцов, – это, знаете, не в духе наших авиационных традиций. Устав уставом, а командир корабля при всех обстоятельствах персона грата. На него словно бы устав не распространяется... Впрочем... Поговорили бы вы с ним, товарищ генерал!

– А я чем могу помочь?

– Все-таки генеральские погоны...

– Ну, ладно уж. Иверскую подняли, – сказал генерал, вставая, и двинулся в сторону будки.

– Эх, авиация! – опять желчно поддразнил Чехардин. – Это даже у Теркина отмечено: "Лишь в согласье все подряд авиацию бранят..."

– К сожалению, на пушке не полетишь.

– Что верно, то верно.

– Вот увидите, генерал Сиверс его уговорит.

Тем временем лейтенант Ночкин уже возвращался из будки. Генерал Сиверс подошел к нему. Ночкин вытянулся, держа трубку у колена.

- Здравия желаю, товарищ генерал.
- Здравствуйте. Если не ошибаюсь, лейтенант Ночкин?
- Так точно, товарищ генерал.
- А это что у вас, лейтенант Ночкин? – спросил генерал Сиверс, указывая тонким, ехидно искривленным пальцем на самолет.
- Самолет, товарищ генерал.
- А, самолет? А я думал – летучий мужской нужник.
- Какой нужник, товарищ генерал?
- Мужской. Знаете? "М" и "Ж". Напрасно вы на дверце своего самолета не изобразили "М". Было бы куда проще.
- Я вас не понимаю, товарищ генерал, – мучаясь, сказал Ночкин. – Это самолет, а не нужник.
- Нет, видимо, зрение вас обманывает, и это именно нужник.
- Ночкин стоял, мрачно уставившись в землю.
- Вы шутите, товарищ генерал?
- Что вы, это не я шучу. Это шутка великого математика Давида Гильберта. Слыхали про такого?
- Никак нет, товарищ генерал!
- Ну, вот, – горестно вздохнул Сиверс. – Придется мне заняться вашим образованием. Слушайте. В прошлом столетии знаменитая женщина-математик Эмми Нетер, ранга нашей Софьи Ковалевской... тоже не слыхали?
- Никак нет, товарищ генерал.
- Эх вы! Так вот, когда Эмми Нетер баллотировалась в профессора Геттингенского университета, ученые мужи вашего типа отклонили ее кандидатуру: она-де женщина, а членом университетского сената женщина быть не может. Узнаете аргументацию, а?
- Так точно, товарищ генерал.
- И тогда великий математик Давид Гильберт, о котором вы никогда не слыхали, что не мешает ему быть великим, задал вопрос председательствующему. – Тут генерал быстро и отчетливо произнес несколько слов по-немецки. – Вы меня поняли, лейтенант Ночкин?
- Никак нет, товарищ генерал. Английский с школы не повторял, подзабыл.
- К вашему сведению, это был не английский, а немецкий, и означало это следующее: "А что, сенат разве баня, что в него нет хода женщинам?" Не правда ли, остроумно?
- Так точно, товарищ генерал.
- Ну, а теперь, вооруженный передовой теорией, я полагаю, вы полетите с женщиной на борту?
- Полечу. Извиняюсь, товарищ генерал.
- Кстати, усвойте, лейтенант Ночкин, поборник патриархата: говорить "извиняюсь" невежливо. Это значит: "извиняю себя", "снимаю с себя вину". Люди воспитанные говорят: "Извините" или "Извините, пожалуйста", а по уставу: "Виноват". Поняли?
- Понял. Извиняюсь, товарищ генерал. Разрешите идти?
- Что ж делать с вами. Идите.
- Ночкин лихо повернулся через левое плечо и направился к самолету. Генерал Сиверс вернулся на площадку для курения.
- Ну как, товарищ генерал?
- Все в порядке – полетит. В таких случаях лучше всего поразить воображение.
- Спасибо, выручили, товарищ генерал.
- Не стоит благодарности.
- Началась погрузка в самолет. Ящики осторожно вносили по трапу.
- Не кантуй! – орал Теткин. – Я тебе покантую!

Лида Ромнич стояла рядом и с величайшим страданием глядела на ящики. Тут только Сиверс заметил, какие у нее большие серые, какие печальные глаза. И не так уж она дурна, как показалась ему с первого взгляда. Только очень уж худа – до болезненности. На запястье левой руки так и ерзал тонкий ремешок мужских часов. Брюки на ней были смяты под коленками, но и в этих мятых брюках было что-то изящное. Главное, как-то просто стояла она на земле – просто и твердо. "Какая самодовлеющая женщина", – подумал Скворцов.

Пока шла погрузка, летчик Ночкин в рулевой рубке тихо разговаривал со вторым пилотом, младшим лейтенантом Кудрявцевым.

– А генерал-то Сиверс меня как песочил... И по-английски и по-всякому. Гильберта какого-то приводил, Давида. Ты не знаешь, что за Гильберт?

– Понятия не имею. Давид... Сиверс вообще всякие имена любит. Тяжелый человек. Знаешь, мне что про него Санька Кривцов рассказывал?

– Этот техник с усиками? Фасонщик?

– Ага. Так вот, идет Санька по улице, зимой было дело, на нем, естественно, шапка, и уши от шапки распущены, а не завязаны. Усек? Так вот, идет Санька, а навстречу ему генерал Сиверс. Плясливой такой походкой, даром что генерал. Увидел Саньку и зовет: "Лейтенант! Сюда!" Санька к нему на полусогнутых – подбежал, вытянулся. А генерал обмахнул его лего-нечко так перчаткой по ушам и спрашивает: "Кто вы? Лейтенант или Спаниель?" Санька отупел, говорит: "Я лейтенант, товарищ генерал". А генерал ему: "Вот как? А я думал: Спаниель". И пошел себе. Санька стоит как мешком ударенный. Долго переживал.

Второй пилот стоял задумавшись. Потом спросил:

– А кто такой "спаниель"?

– Какой-то иностранный ученый.

– А я думал – собака.

– Я тоже сперва так подумал. Потом соображаю – нет. Намек какой-то в этом слове был. Ночкин почесал за ухом и сказал:

– Мало еще у нас с этим низкопоклонством борются, Мало. Я бы еще боролся.

Кудрявцев издал согласное ворчание.

## 2

Самолет, оторвавшись от земли, с натугой набирал высоту. Одна ребристая плоскость круто уходила вверх, другая – вниз. Люди скользили по металлическим сиденьям откидных скамеек. В круглых окошках-иллюминаторах быстро мельчала удаляющаяся земля. Все на ней становилось маленьким, игрушечным, необыкновенно чистым. По сверкающей нитке шоссе божьей коровкой полз красный автобус. Быстро закладывало уши. Плохо закрепленные ящики, вздрагивая, сползали вбок. От громкого рева двигателей все тряслось, вибрировало.

– Экая консервная банка, – заметил Теткин. – Так и дребезжит: дзы, дзы.

– Это же не пассажирская машина, – возразил ему длинношей, длинноногий молодой человек с темными преданными глазами, похожий на мальчика-переростка. – Машина строгая, военная, один металл.

– Эх, Ваня-Маня, а я и не знал! Спасибо надоумил! – засмеялся Теткин.

Ваня Манин работал в седьмом институте и был известен тем, что всегда все всем объяснял. Называли его обычно Ваня-Маня.

– Да, комфортабельной эту машину не назовешь, – солидно сказал пухлый блондин в светло-серой рубашке, похожий на зрелый гриб-дождевик.

– А вы откуда? – дружелюбно спросил Теткин. – Тоже из семерки?

– Нет, я из двадцатого ящика. Инженер Джапаридзе.

– Будем знакомы: Теткин, из КБ Перехватова. А почему вы Джапаридзе?

– Вы имеете в виду мою белокурую внешность? Чисто случайно. Меня отчим усыновил, природный грузин. От рождения я, в сущности, Лютиков, а не Джапаридзе. А как там с условиями?

– Где?

– В этой вашей Лихаревке.

– Ничего. Жить можно.

– Я колбасы твердого копчения захватил.

– Правильно захватили.

Самолет пробил слой облачности и пошел горизонтально. Моторы ревели теперь ровнее, и ящики успокоились.

– Ну как, кончились ваши фокусы с набором высоты? – спросил в пространство генерал Сиверс.

– Так точно, товарищ генерал, – ответил Скворцов.

– Отлично. Теперь можно и соснуть. Спишь – меньше грешишь.

– А мы вам не будем мешать разговорами? – вежливо осведомился Ваня Манин.

– Сделайте одолжение, не стесняйтесь.

Все-таки разговор оборвался.

– Был у меня приятель, Коля Нефедьев, – сказал вдруг генерал Сиверс, не открывая глаз. – Хороший человек, царство небесное, ровно десять лет тому назад погиб – в июле сорок второго. Так вот, Коля очень любил спать и относился к этому делу, можно сказать, профессионально. Называл он это занятие "сидеть на спине" и особенно любил спать под разговоры... Даже стрельба ему не мешала...

Генерал умолк.

– А дальше? – спросил Теткин.

– Дальше ничего. Это я так рассказал. Просто захотелось вспомнить хорошего человека. Все замолчали.

Самолет теперь шел спокойно, как утюг, время от времени плавно подныривая и опять выравниваясь. Становилось заметно свежо, металлические сиденья холодили. За бортом – минус тридцать пять.

– Один человек эквивалентен ноль целых три десятых секции отопления, сказал Теткин. – Прошу товарищей дышать.

Майор Скворцов смотрел в окошко. Небесный пейзаж в круглой раме. Ведь сколько он летал, всю жизнь, можно сказать, был при авиации, а все не мог привыкнуть к этой картине, когда самолет летит над облаками, а они освещены солнцем. Край ледяной, фантастический, клубящийся. На горизонте дыбом встают снежные горы. А внизу, под самолетом, облака плавают, как льдины, как шуга на замерзающей воде. Между ними – голубые просветы. А если вглядеться – таинственно в этих просветах становятся видны затянутые дымкой земные подробности: дороги, овраги, леса, поселки. словно все это утонуло и лежит на дне озера.

– Невидимый град Китеж, – сказал над ухом Скворцова подполковник Чехардин.

– Представьте, я сейчас об этом же думал, только не теми словами.

– Что слова? – сказал Чехардин, своими чрезмерно светлыми глазами глядя на облака. – Что можно ими передать, кроме самой элементарной информации? "Идет дождь, человек умер, самолет летит на высоте десять тысяч метров" такие вещи с грехом пополам словами передаются. А попробуй объясни: что здесь красиво? Почему красиво? Кроме "Ах, как!", ничего не скажешь...

– Я рад, что вам понравилось, – сказал Скворцов, польщенный, словно бы был хозяин всем этим облакам. – А вот когда будем к Лихаревке подлетать, вы не пропустите. Такая там красота, что... словом: "Ах, как!" Воды километров на сорок – пятьдесят, и это все изрезано, с рукавами, островами, протоками... Пойма реки Машуган, знаете?

– А я видел, – сказал Чехардин. – Я уже не первый раз.

– Ну и как там в Лихаревке – ничего? – спросил Джапаридзе.

– Вполне ничего, – ответил Скворцов. – Впрочем, вру. Летом ничего, а зимой трудновато. Мороз градусов тридцать, ветер пятнадцать – восемнадцать метров в секунду. Один раз у нас ветром галюн снесло, так называемый туалет. Прихожу утром – будки нет, одни кучи. Ветер такой, что сквозь кирпичную стену продувает, честное слово. Приходишь домой после пурги, а в углах – сугробики.

– Плохое качество строительства, – пояснил Манин.

– А что там есть замечательного? – спросил Джапаридзе.

– Свины, – засмеялся Теткин.

– Да, – поддержал его Чехардин. – Пожалуй, самое замечательное в Лихаревке – это местная порода свиней. Высокие, поджарые, на длинных ногах... Сразу не поймешь, свинья или борзая. Воинственные, боевые свиньи... Дерутся на помойках, визжат, кусаются... Какой-то свиней цирк.

– А их хозяева не кормят, – сказал Теткин. – Там считается, что свинья сама себе найдет пропитание. Вот они и трудоустраиваются – на помойках.

– А съедобные они? – поинтересовался Джапаридзе.

– Относительно, – ответил Скворцов. – Мясо рыбой воняет. Я-то неприхотлив, для меня любое органическое вещество съедобно, а другие обижаются.

– Братцы, что я вам расскажу по случаю этих свиней, – вмешался Теткин. – Купил я однажды такой свиньи окорок и сильно на нем проиграл. Я тогда ухаживал за одной местной, ничего была женщина, как же ее звали?... Кажется, Настя.

– Нина, – подсказал Скворцов.

– Не путай, Нина – это в другой раз. А на этот раз была Настя, я теперь твердо вспомнил. Позвала она меня в гости. Я, конечно, волнуюсь. Купил плодоягодного, того-сего, мелкого частника в банке...

– Частика, – поправил Манин.

– Ну, все равно – частика. И, как последний аккорд, решил ее поразить взял на рынке целый свиней окорок. Иду к ней нагруженный. Вручаю окорок: "Зажарь, Настенька". От великодушия еле жив. А она даже не поразились. Понюхала. "Так и есть – рыбой воняет". Представляете? Я до того разочаровался, что взял плодоягодное и ушел. Так ничего у нас и не вышло.

– А отчего они рыбой пахнут? – спросил Манин.

– А черт их знает. Может, они сами рыбу в реке ловят. С них станется. Такие свиньи на все способны.

Джапаридзе слегка порозовел и, стесняясь, спросил:

– А как там в области напитков?

– В этой области как раз неважно, – ответил Скворцов. – В городке, сами понимаете, продажа запрещена, а в самой Лихаревке – одно плодоягодное, вино в высшей степени не вдохновляющее. Кстати, неудачи Теткина в любви надо на восемьдесят процентов отнести за счет плодоягодного. Выпив такого вина, женщина...

– Оставь свои пошлые намеки, – сказал Теткин. – Для тебя нет ничего святого.

Скворцов не слушал:

– А вам, товарищ Джапаридзе, раз уж вы едете в Лихаревку и интересуетесь напитками, вам надо знать, что такое Ноев ковчег.

– А что это?

– Ноевым ковчегом там называют забегаловку, которой заведует некий Ной Шошиа, личность в своем роде замечательная. У Ноя всегда можно достать и водку, и коньяк, и пиво, если только он вас полюбит. Я думаю, что за одну фамилию он всегда обеспечит напитками вас – и нас заодно.

– Моя фамилия только номинально грузинская...

– Ну, тогда вам придется победить Ноя с помощью личного обаяния.

Джапаридзе задумался, словно усомнившись в своем личном обаянии.

В самолете становилось все холоднее. Пар дыхания облачком окружал каждый говорящий рот. То один, то другой из пассажиров вставал и, пытаясь согреться, топал ногами и бил в ладоши. Джапаридзе открыл чемодан и застенчиво облачился в мохнатый свитер.

– В предусмотрительности нет ничего плохого, – пояснил Манин. У него самого отчетливо посинел нос и темные влажные глаза смотрели очень уж по-собачьи.

– А как же наш генерал спит в такой холодине? – вполголоса спросил Теткин.

– Я спал, – "сказал Сиверс, – но теперь, по милости вашей, проснулся.

– Вам же холодно, товарищ генерал.

– Мне не холодно. Мне никогда не бывает холодно. Как, впрочем, и жарко. Ваше замечание напоминает мне, как однажды моя маменька – шнырливая старушка, даром что ей восемьдесят годов – разбудила меня и спросила: "Саша, как ты можешь спать, ведь тебе мухи мешают?"

Кругом засмеялись. Подошла Лида Ромнич, растирая замерзшие руки. Она была правильного синего цвета и узко вжалась в свою короткую курточку.

– Однако холодно.

– Хотите, я вас согрею? – спросил Скворцов.

Она подняла на него медленные серые глаза. Теткин захохотал.

– Нет, я без пошлости. Я вас заверну в чехол от мотора. Хотите?

В углу лежали большие замасленные чехлы, похожие на ватники великанов. Скворцов взял один, встряхнул и галантно завернул в него Лиду Ромнич.

– И черным сободем одел ее блистающие плечи, – сказал Чехардин.

Она засмеялась. Посиневшие губы, плотно прилипшие к деснам, раздвинулись неохотно, в подобию гримасы. "Как она нехороша все-таки", подумал Скворцов. Лида уселась на пол, плотно завернувшись в чехол.

– Небось тепло? – завистливо спросил Теткин.

– Нет еще, но будет.

Теткин поднял второй чехол:

– Чего добру пропадать? Кому утепление? Скорей признавайтесь, а то сам возьму.

– Ну, да бери уж.

– Не в порядке эгоизма... – бормотал Теткин, заворачиваясь в чехол.

– А токмо волею пославшей ты жены. Знаем, – отвечал Скворцов.

Теткин, окуклившийся, опустился на пол рядом с Лидой. Они молча сидели бок о бок, притихшие, словно потерпевшие бедствие. Самолет, монотонно рыча, всверливался глубже в мороз. Среди оледеневшего металла двое в чехлах казались единственными островками тепла. Манин не выдержал:

– Теткин, пусти погреться.

– А я что? Я не протестую. Полезай. Ишь, орясина, как тебя вымахало! Мослов одних, мослов сколько.

Повозились, укутались, затихли.

– А что ж у меня второе место пропадает? – спросила Лида и вопросительно взглянула на Чехардина. – Хотите?

– Нет, спасибо, я почти не чувствую холода.

– А вы? – обернулась она к Скворцову, подняв на него свои серые скорбные глаза.

Черт, что за глаза! Опять она показалась ему не так уж дурна.

– Ну как я могу отказаться? – фатовски ответил Скворцов. – Желание дамы – закон.

Она даже внимания не обратила, спокойно потеснилась, давая ему место, и сцепила края чехла перед грудью узкой, побелевшей на сгибах рукой.

– Ребята, я жрать хочу, – заявил Теткин. – Такая закономерность, что в воздухе я всегда жрать хочу.

– Если бы только в воздухе, – сказал Скворцов.

– Нет, серьезно. Только взлетишь – так и разбирает. Надо было в дорогу жратвы купить.

– Что же не купил? Тут вот запасливые люди со своей колбасой летят.

– Психологически не могу. Когда плотно наемся, не могу жратву покупать. А вчера как раз зашел в сашисечную...

– Куда? – спросила Лида Ромнич.

– В сашисечную, – невинно повторил Теткин.

– А ну-ка по буквам, – предложил Скворцов.

– Сергей, Александр, Шура...

Все засмеялись.

– Вы напрасно смеетесь, – подал голос генерал Сиверс, – это особое заболевание: органическая безграмотность. У меня двоюродный брат тем же хворал. Цивилизованный человек, инженер-путеец, а до самой смерти писал "парабула".

– Теткин, а как пишется "парабола"? – бессердечно спросил Скворцов.

– А ну вас к черту. Не обязан я вам тут кандидатский минимум сдавать.

Солнце постепенно переместилось и било теперь в правые окошки вместо левых. Чехардин курил, глядя на облака. Генерал Сиверс по-прежнему четко спал, прислонясь к стене. Скворцов начинал согреваться и размышлял о тысяче дел, ожидающих его в Лихаревке. Справа от себя он слегка чувствовал худое, со слабой косточкой, плечо Лиды Ромнич, но не думал ни об этом плече, ни о ней самой.

Он представлял себе Лихаревку, обжитую за эти годы, как второй дом, деловую свободу командировки, каменную офицерскую гостиницу (прошлый раз не было мест, пришлось жить в деревянной)... "А как прилетим, – думал он, – сегодня же непременно купаться". И он представил себе, как спустился по пыльной крутой тропинке вниз, к реке, в благословенную зеленую пойму, как разделся, затянул плавки, прыгнул... И сразу же обступила его в мыслях теплая блистающая вода, и он резал ее, отталкивая от себя ногами, чувствуя, как он споро плывет, как он бесконечно, ликующе, по-дурацки здоров, каждым мускулом, каждым пальцем, каждым ногтем здоров... А вечером – пульку. Ребята, кажется, подобрались ничего, и Теткин – для смеху, и вообще хорошо – в Лихаревку. Самолет поревывает, поныривает, а он. Скворцов, летит туда, в Лихаревку, – легкий, бодрый, ничего лишнего; в чемоданчике – эспандер, трусы и бритва, а главное, здоров. Это хорошо: потребует жизнь, любые обстоятельства – пожалуйста, я тут, здоров.

А еще он думал, что многие будут ему там рады, и среди многих – Сонечка Красникова...

### 3

Последний раз, как он был в Лихаревке, месяца полтора назад, стояла жестокая ранняя жара. Майор Красников праздновал присвоение очередного звания. Гости собрались в небольшой квартирке Красниковых – уютно, зажиточно, на диване подушки – болгарский крест. Жесткие тюлевые занавески не колыхались. Гости сидели за столом мокрые, разварные и даже водку, с трудом добытую у Ноя (Скворцов пустил в ход личное обаяние), глотали неохотно. Водка была теплая и желтая, как спитой чай. На тарелке, выпучив мертвые глаза, лежала селедка, лилово окольцованная луком. Напротив Скворцова сидел совсем разомлевший капитан Курганов, а рядом с ним – его жена, смуглая, недоброглазая женщина с большим вырезом,

косо спустившимся на одно плечо. Курганов, передернув шеей, выпил водки и только что занес вилку, чтобы закусить селедочкой с луком, как жена отчетливой и Злой скороговоркой сказала:

– Будешь есть лук – разверну к стене.

Рука с вилкой повисла в воздухе и послушно опустилась. "Экая стерва", подумал Скворцов. Слева от него сидела жена начальника отдела, Люда Шумаева, худая высокая блондинка с длинной шеей и озабоченными глазами.

– Людочка, отчего не пьешь? – спросил ее Скворцов.

– Жарко, душно. До чего мне здесь надоело, знал бы ты. Кажется, все бы отдала – уехать. Город, шум города я люблю... Театр, оперетку. Оперетку особенно. Я все арии из опереток прямо наизусть знаю. "Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?" – пропела она ему на ухо.

– Помню, – сказал Скворцов.

– Ты все смеешься, а мне не до смеху. Ну, посуди сам, что я здесь вижу? Рынок, магазин, кухня, дети... Я как заводная кукла – прикована к керосинке...

– А ты бы работать пошла.

– Куда? Здесь на каждое место по десять жен. Нет, уехать, только уехать.

– Ну что ж. Уехать тоже можно. Уговори Сергея...

– Он! Да разве он отсюда уедет? Это такой эгоист, до того в свою работу влюблен, просто ужас. Нет, послушай, почему это так выходит: ему все удовольствия – и днем и ночью...

Скворцов засмеялся и спросил:

– А тебе ночью разве нет удовольствия?

– Очень редко, – печально и просто ответила Люда.

Он поцеловал ей руку. С другого конца стола подполковник Шумаев, маленький человек с черными горячими глазами и бритым, слоновой кости черепом, крикнул ему:

– Что тебе, Пашка, жизнь надоела?

– Вот видишь, какой собственник, – вздохнула Люда.

Капитан Курганов опять робко потянулся к селедке: в эту минуту жена разговаривала с соседом. Скворцов услышал ее слова:

– От этой жары я становлюсь злая, как Муфистофель.

– Муфистофель, – повторил Скворцов.

– Это правда, – печально сказала Люда. – Сколько ему достается – это нельзя передать. Он и дочку в садик, он и на рынок, и все он. Я и сама хозяйка неважная, ничего не скажешь, но сготовлю и на стол подам безропотно. А она ему швырком: ешь! Прошлый раз Сергей у них в карты играл, так она им тарелку с помидорами прямо по столу так и двинула кошмар! Нарезаны помидоры как ногой, ни маслом не заправлены, ни что. А она...

– Не надо о ней, Людочка, – попросил Скворцов. – Ну ее к бесу.

Заиграла радиолка. Столы сдвинули, начались танцы. Две-три пары вяло задвигались по крашеному, до блеска натертому полу. Подполковник Шумаев подошел к жене и вежливо поклонился. Люда встала и положила ему на плечо руку, желтоватую и тонкую, как церковная свечка. Она была на полголовы выше мужа. Скворцов заметил, что она босиком. Узкие босые ступни – про них хотелось думать: не ступни, а ладони. На этих ступнях-ладонях она двигалась легко, проворно, чуть изгибаясь, как очень худая молодая кошка ходит вокруг ног своей хозяйки.

– И все-таки она босиком, – сказала Муфистофель. – И как только муж терпит.

– Жарко, – ответил сосед.

– Всем жарко, но никто, кроме нее, не позволяет. Все в каблуках. Не деревня.

Скворцову сделалось душно, он встал из-за стола и пошел проветриться. По дороге его кто-то перехватил за руку. Это был сам хозяин, герой торжества, новоиспеченный майор Красников. Большая звезда празднично поблескивала на его новеньком двухпросветном погоне. Красников был счастлив и пьян.

– Посиди со мной, Паша! Я тебя во как люблю. Все собирался тебе сказать, да случая не было. Я тебя люблю. Не веришь?

– Отчего же? Верю.

– Ну, садись, друг мой закадычный.

Скворцов сел.

– Выпьем, Паша, за... В общем, за наши достижения. Вот я, майор...

Выпили. Водка была еще теплее, чем вначале. Просто горячая водка. Скворцова чуть не стошнило.

– Ну, люблю я тебя, как сукиного сына, честное слово, – говорил Красников в судорогах пьяной любви к ближнему. Он стиснул Скворцова поперек шеи и стал целовать.

– Пусти, брат, душно, – сказал Скворцов.

– Брезгаешь? Ну, ладно, брезгай. Все равно я тебя люблю.

– За что же ты меня так особенно полюбил?

– Ты – человек политически подкованный.

– Вот как? – удивился Скворцов.

– Честное слово. И я тоже политически подкованный. Я все перевожу на уровень теории. Вот недавно приходит ко мне моя Соня – хорошая женщина, но развитие еще не на высоте – и жалуется на трудности в домашнем хозяйстве. Я сказал: "Соня, во всем нужно базироваться на теорию". И с трудом достал книгу "Мужчина и женщина", том второй. Очень глубокая книга. Прочитала. И как ты думаешь? Помогло. Ей-богу, помогло! Вот она сама тебе подтвердит. Соня!

Подошла, улыбаясь, невысокая крепенькая женщина с гладко натянутыми на круглой головке черными волосами. Красников, не вставая, притянул ее к себе.

– Хочу тебя познакомить. Это – Паша Скворцов, любимый человек моего сердца. А это – Соня, законная жена.

– А мы уже знакомы, – сказал Скворцов.

– Ничего, я вас еще раз познакомлю, крепче будет. Дай ему руку, Соня.

– Красникова Соня, – сказала она, подавая руку дощечкой. Черные глаза у нее были выпуклые и чистые до сияния.

– Я тут. Соня, рассказывал майору, как я тебе по хозяйству помог. Было дело?

– Было-было, – сказала Соня, чуть-чуть подмигнув Скворцову. – А теперь тебе пора баиньки, ты уже набрался достаточно.

– Я-то? Я еще как штык.

– Слушайся маму.

Красников покорно встал и сделал ручкой:

– Гуд-бай.

Сонечка вывела мужа в соседнюю комнату и довольно быстро вернулась.

– Готов, спит. Он у меня, когда выпьет, такой послушный, такой сознательный, ну прямо прелесть. Другие мужья издеваются, посуду быют, а он все культурно. Сам ботинки снимет, на цыпочках идет – детей не разбудить. Нет, ничего не скажешь, я сравнительно с другими счастливая.

– Приятно видеть счастливую женщину, – сказал Скворцов.

Кто-то принес гармошку. "Русского, русского!" – закричали гости. Гармонист развернул мехи, и родные, поскрипывающие, заикающиеся звуки так и поплыли, подмывая, по доскам пола. Соня Красникова пошла плясать. Этаким кубариком она плясала – плавно и складно. Казалось, именно так должны были плясать наши бабушки, целые поколения наших бабушек – и пра, и пра... Скворцов смотрел на нее, очарованный каким-то сложным чувством, очень ощущая себя русским. Когда снова завели радиолу, он пригласил Сонечку танцевать. У нее оказалась очень тонкая, прямо-таки муравьиная талия, резко делившая ее пополам, и за эту

талию он ее поворачивал, и она слушалась, снизу глядя ему в глаза. Маленькое золотое сердце на тонкой цепочке подрагивало в вырезе ее голубого платья, на самой границе загара. Скворцов танцевал с наслаждением и неохотно остановился, когда кончилась музыка.

– Пойдите, у меня, наверно, чайник вскипел, – сказала Сонечка. Пойду, посмотрю.

Он пошел за ней. В кухне горела керосинка. Теплый свет падал сквозь слоистое, слюдяное окошко. Чайник молчал.

– И не шумит... – сказала Сонечка.

На столе, под полотенцами, отдыхало что-то печеное, должно быть пироги. Рядом стояли чашки – ручки все в одну сторону. Сонечка тихо дышала. В оранжевом свете, поблескивая, поднималось и опускалось золотое сердечко. Стоя рядом, он обнял ее, и она опять послушалась, как в танце. Вокруг ее рта стоял островок чистого дыхания. Он поцеловал источник этого дыхания и обомлел: он провалился во что-то свежее и душистое, как только что скошенное сено...

Но тут зашумел чайник...

– Братцы, пойму видать! – закричал кто-то.

Все бросились к иллюминаторам. Внизу лежала широкая, в полземли, зеленая полоса, вся изрезанная темноватыми водяными жилами. Могучая река, разветвленная на множество рукавов, показывала сразу все свои извилистые изгибы. Время от времени солнечный луч, отраженный от водной поверхности, ударял в глаза, и какой-нибудь участок реки на миг становился пролитой ртутью. Даже отсюда, далеко сверху, было видно, как все это огромно.

– Да, неплохая речка, – сказал генерал Сиверс.

– А вот и наша Лихаревка! – закричал Скворцов.

– Где, где?

На резко очерченном, как ножом срезанном, берегу виднелась одна длинная улица с домами-бусинками по краям. Немного поодаль белели домики побольше.

– Жилой городок – видите?

– По местам! Идем на посадку! – крикнул второй пилот.

Все расселись по скамьям. Самолет, круто кренясь и поворачивая, начал снижаться. Из круговращения внизу постепенно выплыли аэродромные постройки, взлетно-посадочная полоса, метеобудка, длинный, натянутый ветром шахматно-клетчатый чулок. Самолет с жужжанием выпустил шасси, ощутимым толчком коснулся земли и побежал, подпрыгивая, по грунтовой дорожке.

Кругом лежала совершенно плоская, совершенно пустая степь. Ветер пригибал к земле иссушенные до невесомости остовы мертвых трав. Самолет остановился. В последний раз взревели моторы и замолчали.

– Прибыли, – сказал лейтенант Ночкин.

Прибывшие, толкаясь чемоданами, начали пробираться к выходу. Снаружи солдат приклонил к борту самолета жидкую металлическую лесенку. Люди спустились на сухую, горячую землю. Жара сразу же навалилась на них, тяжелая, как кирпич.

Из голубого павильона вышел офицер и направился к самолету. Майор Скворцов, держа руку у козырька, сказал:

– Товарищ дежурный, прибыла специальная группа из Москвы для выполнения работ в войсковой части. На борту спецгруз весом четыреста килограммов. Старший группы майор Скворцов.

– Здравия желаю, – ответил дежурный, подавая руку. – С приездом вас.

## 4

Жилой городок, расположенный недалеко от райцентра Лихаревка, еще не имел своего названия. Он состоял из двух-трех совершенно одинаковых каменных домов в два этажа, с ампириными веночками по фасадам, нескольких деревянных барачков и множества сараев с толевыми крышами. Еще была здесь кирпичная красно-белая школа, совершенно такая же, как во всех других городах, и недостроенный Дом офицеров с двенадцатью пузатыми колоннами, грубо облицованными цементом.

В городке было три гостиницы: деревянная, каменная и "люкс". Деревянная – для тех, кто попроще, гражданских и вообще всякой мелочи. Строение было барачного типа, хотя и большое; так называемые "удобства" – на улице. Каменная гостиница считалась рангом повыше, селили там главным образом офицеров. Стояла она на круглой площади, задуманной строителями как центр городка. В каменной гостинице был предусмотрен водопровод и удобства внутри. Последней ступенью роскоши был "люкс", где размещали генералов и вообще большое начальство. Здесь были фикусы, по верхней кромке стен золотой багет, и при каждом номере ванна. Впрочем, в летние месяцы вода шла редко, а когда шла, то со свистом и совершенно ржавая, так что разница между деревянной, каменной и "люксом" сказывалась больше не в быте, а в почете. Строено было это все плохо, хромо, щелясто. С повышением ранга увеличивалось, главным образом, количество картин на стенах, стекляшек на люстрах и золоченных цапек "под бронзу".

Конструктора Ромнич разместили, конечно, в деревянной. Заполнив анкету у дежурной, она заплатила за неделю вперед и взяла квитанцию.

– Одно женское место, третий номер, вторая дверь направо, – нелюбезно сказала дежурная.

Лида Ромнич вошла в небольшую комнату, оклеенную пестрыми, в букетиках, обоями. Окно было завешено мокрой простыней, пахло предбанником. По стенам стояли три железные койки; две были заняты, одна свободна. На занятых спали две фигуры, с головой укрытые простынями; по простыням путешествовали мухи. Свободная койка была застлана темно-синим грубошерстным одеялом с надписью "Ноги". В изголовье торчком стояла взбитая подушка с заправленными внутрь уголками, а над надписью "Ноги" висело чистое вафельное полотенце. Стульев не было. Лида осторожно, чтобы не стукнуть, поставила чемодан на пол и села на кровать. Кровать под ней задвигалась и жестоко заскрипела. Толстая женщина напротив проснулась и высунула из-под простыни помятое сном, пятнами покрасневшее лицо. Увидев Лиду, она улыбнулась, и стало видно, что она молода, добра и хорошо выспалась. Лида улыбнулась ей в ответ. Женщина протянула ей маленькую влажную руку с рыжими на концах пальцами фотографа:

– Лора Сундукова.

– Лида Ромнич.

– Ой, я про вас знаю! Вы – конструктор, правда?

– Правда.

– Очень уважаю женщину, если она конструктор. Мне про вас Теткин рассказывал. Вы ведь тоже у Перехватова?

– Да. Кстати, Теткин с нами прилетел. Только что.

– Да неужели? – просияла Лора. – Радость какая! Где ж его разместили? В каменной?

– Нет, как будто здесь.

– Здесь! Если здесь, это хорошо, – откровенно светясь, сказала Лора. Подумать, как мило! Томка, Теткин приехал! Надо одеваться.

Она откинула простыню и села, беззастенчиво показывая милое белое тело, обволоченное солнцем по выпуклостям. Напряженно нагнув голову, она стала застегивать сзади обширный голубой бюстгальтер. На второй кровати зашевелилась простыня, из-под нее высунулась темная мелкокудрявая голова со смуглым смешным личиком.

– Лора, страдалница, опять Теткин приехал, снова переживать!

– А я не против переживать, я за.

Накинув сарафан, Лора взяла полотенце и вышла.

Из-под простыни вылезла черненькая девушка, вертлявая и кудрявая, как пуделек. Темные красивые глаза смотрели скорее печально, в противоречии со смеющимся ротиком, полным неправильных, сдвинутых зубов.

– Я Тамара, зовут Томка. А та, полная, это Лора. Она в Теткина влюбилась, прямо смех. Я ей говорю: брось, а она продолжает, прямо как психованная. Теткин и Теткин, и никого другого, это надо же! Я лично в нем ничего не вижу особенного, мужчина как мужчина, лысый и довольно пожилой, хотя и молодой годами, но интересным его не назовешь, правда?

Томка не говорила, а словно журчала, слитно, без передышек, только иногда наклоняла голову, спрашивала: "Правда?" – и смотрела вбок. Она начала одеваться, проворно шевеля локтями.

– Вы не смотрите, я такая худая, прямо стыдно! Лора, она даже чересчур полная, а я худая, кому что, но Лорка, она по-своему очень даже интересная. Хотя у нас в КБ ее интересной не считают, слишком полна. А по-моему, полнота, если не слишком, даже украшает женщину, правда? Лорке полнота идет, она все-таки мать, девочка и мальчик, Маша и Миша. Лорка она до ужаса рукодельница, французской гладью умеет, для меня это недоступно, я только русской, по сеточке, без набивки, но я рукоделием не увлекаюсь, это слишком несовременно, правда?

Лида сначала хотела отвечать, но быстро убедилась, что "правда?" вопрос риторический.

– Подумать только, мы с Лорой тут скоро месяц, время бежит, условий никаких, жара, мухи, койки жесткие, на пленке эмульсия так и ползет, дешифрируй, как хочешь, в столовой суп "бе эм" и котлеты "бе гэ"; "бе эм" – значит без мяса, а "бе гэ" – без гарнира. Дома я большая любительница изящно покушать, я салат "оливье" сделаю – как художественная картина, я создана для хозяйства, так муж говорит. Он у меня мужчина интересный, хотя росту мало и лысина пробивается. Меня он называет "макака", но это так, а в душе он меня до ужаса любит. Получку принесет – и все мне, из рук в руки. Я бы не работала, но хочу на телевизор скопить, чтобы дома была культура, а то, говорят, муж будет куда-то стремиться, правда?

– У меня тоже нет телевизора.

– Ну, вам, с вашей зарплатой на телевизор скопить – раз плюнуть, не то что мне. Я техник-лаборант, шестьсот получаю, да муж тысячу [в тогдашнем масштабе цен], от таких денег не каждый месяц отложишь, все на еду уходит, прямо смешно, никаких последствий. Все мои подруги сбережения имеют, а я нет. Я только так говорю – хозяйственная, но нет, это я пострепать хозяйственная, а экономить я не умею, для этого не создана, я люблю, чтобы деньги не считать, чтобы по ветру летели деньги. Я ресторан люблю посещать. Для чего и жить, если себе отказывать, детей нет, скоро конец молодости, правда? Лорка, она здорово экономная, ну да ей и надо, все-таки одинокая, муж у нее ушел, слышали? Ушел к какой-то зануде, оставил двух детей, Маша и Миша, – ужас какая трагедия, я даже плакала, честное слово, ведь это...

Она не договорила, потому что пришел удар – глубокий, красивый, бархатный. Стекла лениво отозвались.

– Звуковой барьер, – сказала Томка.

– Нет, тол, килограммов двести, – поправила Лида.

– Ну так вот, я и говорю: ведь это очень трагично, когда муж уходит от жены! Прорабатывали его, но без результата. Я своего вот так держу: он только одним глазом посмотрит на женщину, я и то не пропускаю, говорю: не смотри. Он смеется: никто мне не нужен, кроме

тебя, макака. Любит. Я его тоже люблю, только я не такая уж темпераментная, я и в девушках целоваться не любила, особенно когда страстно целуются, я этого не выношу, наверно, оттого, что очень худая, как вы думаете? Вы вот тоже худая, наверно, тоже не особенно страстная?

Лида не успела ответить: в дверь постучали.

– Кто там? – спросила Тамара.

– Можно войти?

– О боже, мужчина! – засуетилась Томка, засовывая под матрас какой-то предмет туалета. – Входите!

Вошел майор Скворцов – весь подобранный, сапоги блестят, ремень с портупеей затянут до предела.

– Лидия Кондратьевна, я за вами.

– Почему за мной?

– Если я правильно понял обстановку, вы еще не обедали. В здешней столовой время обедов кончилось, а время ужинов еще не началось. Но я, вступив в переговоры с персоналом, решил эту проблему. Приглашаю вас к столу.

– Ладно, сейчас иду. Только мне надо умыться и переодеться.

– Сколько времени вам на это понадобится?

– Минут десять.

– Отменно. Ровно через десять минут жду вас в вестибюле.

Скворцов откозырял и вышел.

– Какой интересный! – воскликнула Томка. – Это ваш поклонник?

– Что вы! Мы с ним сегодня только познакомились.

– Тем лучше. Я таких мужчин очень люблю: в точности мой вкус! Дома я себе не позволяю, соблюдаю семейный очаг, а здесь – отчего нет? На серьезное нарушение не пойду, а так – потанцевать, посмеяться – не вижу ничего дурного. Мужчина интересный, рост высокий, я это люблю, хотя сама вышла за низенького, и лицо интеллигентное, хотя прелести особой нет, но зато сразу виден ум, правда?

– Пожалуй, да. Я как-то не обратила внимания.

– Зато он на вас очень даже обратил, поверьте моему опыту. Я всегда вижу, кто на кого обращает, это у меня как ясновидение, даже муж говорит. Он только еще успеет подумать в направлении, а я уже ревновать начинаю. Все чтобы было мое, каждая мысль и каждое дыхание: вот как я понимаю семейную жизнь!

– Где здесь можно умыться?

– Во дворе налево, корыта такие стоят с умывальниками. Я вас провожу, хотите?

– Нет, спасибо, найду.

Пока Лида умывалась, прошло еще два удара. Вообще воздух в Лихаревке был насыщен ударами, и пора было уже не обращать на них внимания.

## 5

– Пока не достроен Дом офицеров – а судя по замыслу, это будет дворец, – я вынужден кормить вас в предприятии общественного питания, которое лучше всего характеризуется русским термином «живопырка».

Майор Скворцов говорил очень по-своему: бегло, складно, щеголевато, голосом, натянутым, как струна, с каким-то даже легким дребезгом на гласных. Как будто звон невидимых шпор молодцевато сопровождал каждое слово. Наверно, из-за контраста манеры говорить и содержания все вместе выходило почему-то очень смешно. "А он ничего, – подумала Лида Ромнич. Хорошо, что он за мной зашел".

Столовая помещалась в нескладном одноэтажном здании с грибообразной пристройкой. У входа росло деревце на подпорке с тремя жалобно растопыренными ветками. Пыльные серо-зеленые листья, скрученные от жары полутрубочками, словно просили пить. На дереве висел плакатик: "Старший техник-лейтенант Неустроев".

– Почему старший техник-лейтенант?

– Grimасы быта, – отвечал Скворцов. – Заместитель по тылу, генерал Гиндин, после неудачных опытов по озеленению городка распорядился прикрепить к каждому офицеру персональное дерево, за которое означенный офицер отвечает головой. Судя по состоянию данного конкретного дерева, голова старшего техника-лейтенанта Неустроева находится в угрожаемом положении.

– Ну-ну, – сказала Лида. – А проще говорить вы не можете?

– Если надо, могу, – смеясь, ответил Скворцов.

Они вошли в дверь с надписью "Общий зал". В довольно обширном помещении толпились столы, покрытые сивой клеенкой. На столах ножками вверх стояли стулья. Уборщица мела пол, сердито шаркая веником.

– Здесь, кажется, уборка... – нерешительно сказала Лида.

Ее робкий тон воодушевил Скворцова:

– Ничего, ничего, проходите.

Он провел ее между столиками, под раскаленным взглядом уборщицы, к дальней двери с табличкой: "Зал N\_2. Пользование, кроме старших офицеров, воспрещается". Лида опять замялась.

– Будьте спокойны, – сказал Скворцов. – Вы имеете дело со мной. Пока я здесь, вам обеспечен офицерский харч.

В маленьком "зале N\_2" было светло и даже довольно игриво: белые занавески, веселенькие, трафаретиком, стены, голубые клеенки. Между окнами висел плакат с лозунгом: "Предотвратим залет мухи!" – а сами окна были забраны частой проволоочной сеткой. Несмотря на это, мух в зале было порядочно. С потолка свисали безопасные для них, высохшие от жары липучки. Горячий солнечный свет крутыми, твердыми какими-то столбами входил в окна. За столами уже сидели сегодняшние попутчики. Лида кивнула им и села, осматриваясь.

На степс напротив висела большая, масляными красками, картина, по-видимому, копия с васнецовского "Ивана-царевича на сером волке", но копия вольная, фантастическая. Писанная явно неумелой рукой, она дышала какой-то дикой искренностью. Сказочные, аляповатые цветы розово светились в лесной черноте. Царевич, глупый и пучеглазый до одури, крепко держал поперек туловища поникшую в обмороке девицу. Ее рыжие волосы летели вбок, как пламя горящего самолета. Волк, насмешливо улыбаясь, вывалив язык, скакал прямо вон из картины, грудью на зрителя...

– Вас, кажется, заинтересовало данное произведение изобразительного искусства? – спросил Скворцов. – Даю пояснения. Всегда мечтал работать гидом. Это грандиозное полотно писал местный самодельный художник майор Тысячный. Страдает безответной любовью к живописи.

– Почему безответной?

– А неужели вам нравится?

– Чем-то – да.

– Пронзительная картина, – подтвердил генерал Сиверс. – Я бы ее купил. А он не продает своих работ, этот Тысячный?

– Кажется, нет.

– Жаль, я бы купил.

Чехардин, прищурившись, взглянул на картину:

– Народный примитив... Впрочем, не без чего-то.

– Вы это серьезно? – по-детски спросил Ваня Манин, перебегая глазами от лица к лицу. – Ну, значит, я дурак.

– Я тогда тоже дурак, – сказал Скворцов. – Никакой художественной ценности в этой картине я не вижу, хоть убейте.

– Правильно! – поддержал его Теткин. – Я тоже не вижу. Говорят, в капиталистических странах ослу кисть к хвосту привязывают, он и рисует, а потом эти картины продают за большие деньги...

– Молчите, Теткин, – отмахнулась Лида и повернула к Скворцову страдающие глаза. – Вы ничего не видите в этой картине? Нет, ничего вы не видите! Какие же вам картины нравятся?

– Какие? Ну, многие... – неопределенно отвечал Скворцов.

К этому вопросу он был не подготовлен. В живописи он был слаб. Он вообще во многих вещах был слаб и отлично это сознавал, но до того был восприимчив и чуток и к тому же так хорошо владел речью, что зачастую с полуслова понимал что к чему и умел казаться неопытному глазу чуть ли не знатоком. Сейчас он тянул время, чтобы поймать намек, хоть маленький... Тут бы он развернулся.

– Какие же именно?

Фу-ты черт, как на грех, он не мог вспомнить ни одной картины: ни названия, ни художника. Одна, впрочем, сейчас представилась ему очень отчетливо: тюремная камера, вода, крысы на кровати, бледная женщина с открытыми плечами, откинувшая голову в страшном отчаянии... Красивая картина! Как же ее?

– "Не ждали", – подсказал Джапаридзе.

– Да, "Не ждали", конечно, неплохая картина, – мгновенно подхватил Скворцов и только что собрался по поводу этой совершенно неизвестной ему картины сказать что-нибудь этакое общее, ни к чему не обязывающее, как ему стало стыдно халтурить при этих простых и печальных серых глазах. Неожиданно для себя он признался: – По правде говоря, я ничего не понимаю в живописи.

– Я так и думала.

Разговор об искусстве на этом кончился, потому что вошла официантка в белом передничке – толстенькая, румяная, лакированная, до того похожая на кустарную "матрешку", что хотелось разнять ее и вынуть другую.

– Симочка! – закричал Скворцов. – Здравствуйте, деточка, вы цветете, как роза, рад вас видеть! Посмотрим, чем вы нас накормите, не знаю, как другие, а лично я уже почти умер от голода.

Симочка лупнула на пего круглым синим глазом и сказала:

– Блюдов нет, супа не в чего дожить.

– Ай-й-й-й, как же так?

– Да ничего, мы зараз намоем, давайте заказы приму.

– А что у вас есть?

– Борщ, котлеты.

– Борщ "бэ эс"?

– Сметану всю покушали, осталось только для генеральского.

– А вы, Симочка, как-нибудь, а? – подмигнул ей Скворцов.

Симочка, не отвечая, записала: "Семь борщей, семь котлет" – и вышла.

– Делать нечего, – сказал Скворцов. – Придется ждать, пока будут намыты эти блюда – так здесь называют глубокие тарелки.

– Черт, я здесь почему-то всегда жрать хочу, – пожаловался Теткин. Пока ожидать, можно и загнуться.

– Теткин, тебе необходимо усвоить лучшие черты русского народа: ясный ум и терпение, – сказал Скворцов. – Вот, например, в нашей тяжелой ситуации что может сделать терпеливый человек? Отвлечь себя от пошлой мысли о еде чтением художественной литературы.

Он снял с углового столика серую тетрадь с карандашом на веревке.

– Перед вами, как следует из надписи на обложке, "Книга жалоб и предложений". Предложения, как обычно, отсутствуют или интереса не представляют, зато жалобы... Сам Чехов мог бы позавидовать. – Ему все еще было неловко, что он осрамился с живописью, и он особенно напирал на Чехова: – Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа.

– Читай-читай, – сказал Теткин. – Знаем, что грамотный.

– Внимание! – начал Скворцов. – Пример номер один. Скрамная, сдержанная, немногословная жалоба, полная, несмотря на это, подлинной душевной боли: "Прошу обратить самое серьезное внимание на обслуживание посетителей столовой, которое происходит крайне медленно и грубо. Подполковник Ляхов". Погодите смеяться, главное здесь не жалоба, а ответ на нее: "Товарищ подполковник, рассмотрев вашу жалобу, факты не подтвердились, ибо ваша грубость отвечалась взаимностью. Зав. столовой Щукина".

Засмеялись все, кроме Лиды Ромнич. Нет у нее чувства юмора, что ли?

– Зав. столовой Щукина – талант! – сказал генерал Сиверс.

– А вот, – читал дальше Скворцов, – жалоба номер два: крик души, оставшийся без ответа. Слушайте, это почти стихи: "Возмущен приготовлением гуся. Сырой совершенно, да к тому же, вероятно, старый гусь. Снимает ли кто-нибудь пробу с подобного деликатеса, как гусь? Подержал в зубах и положил обратно в тарелку. Уплатил три пятнадцать. За что?"

Засмеялись все, даже Лида. Она смеялась словно с неохотой, нагнув голову и отвернувшись, по-детски вытирая слезы ладошкой, и Скворцов рад был, что она смеется, ужасно рад! Хорошо смеялся и Чехардин. Он все повторял: "Гусь! Гусь! Гусь!" – и опять начинал хохотать. Смеясь, он казался куда добрее и проще.

– А вот еще... – начал Скворцов, но не закончил.

Появилась Симочка с подносом, на котором в два этажа громоздились тарелки. Борщ был коричневый, пожилой, очевидно не раз разогретый, но зато в каждой тарелке плавал кружочек сметаны.

– Ай да Симочка! – завопил Скворцов. – За сметану вас расцеловать надо!

– Я – мужняя жена, – рассудительно ответила Симочка.

Принялись за борщ. Тут отворилась дверь и, неся перед собой живот, вошел огромного роста, толстоплечий, львино-седой генерал. Бодро подрагивая плечами и грудью, он направился прямо к столу, за которым сидел Сиверс.

– Здравия желаю, товарищ генерал. Меня зовут Гиндин, Семен Миронович. Вы меня еще не знаете, зато я вас знаю. Ничего, теперь вы меня узнаете; раз уже приехали в мое хозяйство, вам придется меня узнать. Прошу свободно обращаться по любому вопросу. А сейчас – я за вами. Мне только что донесли, что вы собираетесь обедать здесь, во втором зале. Зачем же? Для таких гостей, как вы, у нас есть другой зал, специальный. Напрасно вас сюда даже пустили, надо было направить прямо туда! Но, знаете, пока дисциплинируешь этих людей... Пройдемте со мной, товарищ генерал!

– Вольно, – сказал генерал Сиверс. – Садитесь.

Это Гиндину не понравилось, но он придвинул стул и сел.

– Так как же, пойдём?

– Да нет уж, лучше я здесь останусь, со споем народом. – Сиверс обвел рукой присутствующих. – Я, знаете, из тех руководителей, которые неразлучны с народом.

– Вольному воля, – сказал генерал Гиндин, начиная сердиться, но сохраняя светский тон. – Все-таки я еще раз советую пойти. Угощу жареной уткой.

– Уткой, говорите? – Сиверс как бы задумался. – Нет, покорнейше благодарю, не надо. Огорчен, но вынужден отказаться. Кстати, пользуюсь случаем выразить вам свое восхищение.

– По какому поводу?

– Изумлен тонкостью обращения, достигнутой во вверенной вам части.

– В каком смысле? – щекотливо спросил Гиндин.

– В гоголевском. Помните: "У нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами (прошу прощения, не я, не я, Гоголь!), то далеко перегнали их в умении обращаться... У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, как с тем, у кого их триста..."

– Поражен вашей прекрасной памятью, – прервал его генерал Гиндин. – В других условиях я душевно рад был бы вас выслушать, но теперь меня призывают дела. Служба, знаете ли, долг службы...

– Скажите! А вот у меня времени как раз сколько угодно. Тем более что во вверенной вам столовой не очень-то торопятся со сменой блюд. Прошу вас, прослушайте еще один – только один! – поучительный отрывок...

– Мне, право же, некогда. – Генерал Гиндин стал вставать.

– Одну минуточку, – засуетился генерал Сиверс, удерживая его за руку. В качестве личного одолжения. "Чичиков заглянул в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся..."

– Не понимаю, какое это имеет...

– Сейчас поймете. Помните, как о них было сказано в газетке: "Город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых деревьев..."

– Мне, право...

– "...и было умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику..."

У Гиндина покраснел лоб. Он встал.

– Я вас понял, товарищ генерал. К вашему счастью, я долго служил на Кавказе и усвоил заповедь: гость – лицо священное. Выше всего – долг гостеприимства. Несмотря на это, я все же сообщу вам свое мнение по затронутому вопросу: легче выучить наизусть Гоголя, чем вырастить хотя бы одно дерево. Будьте здоровы.

Он поклонился и вышел. Дверь с ветром захлопнулась.

– Забавное кино! – захохотал Теткин.

Генерал Сиверс невозмутимо принялся за свой остывший борщ.

Лида Ромнич спросила:

– Это тот самый генерал Гиндин, который к каждому дереву прикрепил офицера?

– Тот самый, – ответил Скворцов. – Любопытный человек, кстати говоря.

– Матерый бюрократ? – полуутвердительно спросил Ваня Манин. Он очень ценил формулировки и каждое явление сразу старался увязать с терминологией.

– Ну, нет, – ответил Скворцов. – Что хотите: властолюбец, деспот, хам, но не бюрократ.

– Власть любит, что верно, то верно! – поддержал Теткин. – Он тут таких строгостей понавел! Этой зимой – знаете, как здесь бывает холодно? вызвал он одного капитана, стружку снять, а тот – в шинели. Гиндин на него: "Почему в шинели?" – "Холодно, товарищ генерал". – "Ничего, снимите, сейчас вам будет жарко".

Теткин захохотал.

– Самодур? – с надеждой спросил Манин.

– Пожалуй, и самодур, – ответил Скворцов, – но только его это не исчерпывает. Гиндин – сложное явление. Энергичен, умен, талантлив, дело у него горит... Знаете, что здесь до него было? Пустыня, глушь, дичь, одни землянки да помойные ямы. За водой на реку с коромыслом

ходили. Весь наш городок – это же Гиндин построил! И в каких условиях! Жара, воды нет, люди от болезней так и валятся...

Скворцов говорил горячо и почему-то даже без юмора. Его поддержал Чехардин:

– Согласен с вами. Генерал Гиндин – любопытнейший тип. Это хозяйственник особого рода, хозяйственник-гений, такие могут вырастать только у нас, выковываются в процессе преодоления трудностей... Вы подумайте только, каково хозяйственнику в наших условиях: направо пойдешь – коня потеряешь, налево – сам погибнешь... А этот Гиндин ни черта не боится. У него к законам отношение конструктивное. Если надо – заплатит сверхурочные, проведет расходы по другой рубрике, из-под земли достанет лимитные фонды, бездельника уволит, хорошего работника переманит... Вместе с тем, без сомнения, субъективно честен. Никогда ничего не сделал для себя лично. Здесь ему предлагали отдельный коттедж – отказался. Так и живет в гостинице.

– А семья? – спросил Манин.

– В Москве, – ответил Теткин. – Жена пожилая, дети взрослые – чего они сюда поедут? Он к себе выписал папу – занятый, между прочим, старик! так и живет вдвоем с папочкой. Очень любящий сын.

– Так долго жить в разлуке с семьей – это может привести к моральному разложению, – заметил Манин.

– Не беспокойся, уже привело, – засмеялся Теткин.

Генерал Сиверс положил ложку и сказал:

– Достойный человек. Зря я его обидел. Попутал бес.

Симочка внесла вторые.

## 6

Испытания затянулись. Генерал Сиверс вернулся в свою гостиницу поздно вечером. Он довольно долго звонил у подъезда. Заспанная дежурная в наскоро наброшенном халате, с волосами, накрученными на бигуди, отворила ему дверь и конфузливо скрылась. Он поднялся к себе на второй этаж. В двухкомнатном номере было душно. Очень хотелось вымыться.

Он прошел в ванную, отвернул кран – воды не было. Ну-ну. Кое-как, черпая кружкой из ведра, он вымыл над раковиной лицо и руки, вернулся в номер и распахнул окно. На улице было так же душно. Удручающе теплый ночной воздух не шевелился. Вдали, чуть смягченные дрожащей дымкой, мигали и роились огни Лихаревки. Где-то завывала сирена и замолчала; потом послышался отдаленный гул, похожий на рыкание множества львов; яркий огненный след стремительной дорожкой пересек небо, посветил и погас... Как всегда, в ночное время на объектах шли работы.

Генерал Сиверс отошел от окна. Нет, нельзя сказать, решительного успеха сегодня не было. Но и отрицательного результата – тоже. А это важно отсутствие отрицательного результата. Посмотрим, посмотрим.

Тишина в номере была настороженной, полной мелких разнообразных звуков. В водопроводных трубах не прекращалась чмокающая, булькающая суетня. У потолка, в матовом плафоне, с легким постукиванием возились лесные клопы особой местной породы – крупные, жесткие, панцирные – клопы-рыцари. К этим обитателям номера он уже привык; они жили своей странной, сосредоточенной жизнью, особенно оживляясь по ночам, когда они собирались в ламповом колпаке на какие-то свои клопьи турниры...

Под лампой, на круглом столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, белел прямоугольник – письмо. Сиверс его распечатал.

"Дорогой Саша, – писала жена, – как ты там поживаешь? Ради бога, будь осторожен, я всегда за тебя волнуюсь. Я без тебя скучаю, мальчики – тоже. У нас пока все благополучно,

главное – здоровы. Володя ходит весь счастливый и гордый: его корреспонденцию напечатали в "Комсомольской правде". Юра получил премию на конкурсе авиамоделлистов. А Коля вчера опять упал в грязь и штаны порвал..."

Генерал Сиверс усмехнулся и пробормотал:

– От каждого – по способностям, каждому – по потребностям.

Коля, младшенький, был его любимец: красив, строптив, черноглаз картина!

"Постарайся не слишком задерживаться, – писала дальше жена, – мне что-то страшно без тебя и очень тоскливо. Приходят разные мысли. Вчера был Борис Николаевич, рассказывал: Доллер заболел. Ситников тоже. Относительно Доллера еще можно было ожидать, но Ситников всех удивил. Борис Николаевич беспокоится о твоём здоровье. Здесь все время идут дожди, так и лето пройдет, а тепла мы еще не видели. Ну, будь здоров. Целую тебя, мой дорогой, и жду. Твоя Лиля"... "Заболел"... Так давно уже называют арест... Тоже секретность! Что ж, болей не болей..."

Письмо было без даты – глупейшая женская манера! Сиверс исследовал конверт – отправлено авиапочтой, четыре дня назад. Он еще раз перечитал письмо – выражение какой-то досадливой нежности прошло по его лицу. "Глупая ты моя, глупая", – сказал он куда-то в себя. Потом разорвал письмо на мелкие квадратики, поискал под столом корзину – ее не оказалось – и бросил обрывки в пепельницу. В дверь постучали.

– *Avanti!* – крикнул Сиверс.

Никто не входил.

– Войдите! *Avanti* по-итальянски "войдите"!

Дверь открылась. На пороге, занимая чуть ли не весь дверной проем, стоял генерал Гиндин. В руках у него была бутылка коньяка.

– Разрешите войти?

– Конечно, конечно! Милости просим! Садитесь, гостем будете.

Генерал Гиндин сел и поставил бутылку на стол.

– Пришел поинтересоваться, как вы тут устроились? Долг хозяина. Нет ли у вас в чем-нибудь недостатка? Только откровенно!

– Нет, благодарю вас, недостатка ни в чем не замечается. Напротив, все превосходно.

– Как вас устраивает номер?

– Благодарю вас, номер замечательный.

– Обслуживание?

– Отличнейшее.

– Летом у нас, – сказал Гиндин, – нередко бывают перебои с водой... Знаете, трудности роста... Вам приходится в связи с этим испытывать неудобства...

– Помилуйте, какие неудобства? Я даже не заметил, что воды нет.

Генерал Гиндин засмеялся:

– Ну, ладно, довольно церемоний. Я долго работал на Дальнем Востоке и слышал там одну китайскую формулу вежливости; на русском языке она звучит примерно так: "Шарик моей благодарности катится по коридору вашей любезности, и пусть коридор вашей любезности будет бесконечным для шарика моей благодарности". Хватит катать шарик по коридорам. Говорю просто и ясно: зашел я к вам потому, что хотел с вами поближе познакомиться, провести время в приятной беседе, выпить бутылочку коньяка... Кстати, коньяк французский, настоящий "мартель". Здесь, в нашей деревне, такой коньяк оценить некому. Я в вас подозреваю знатока.

– Помилуйте, какой же я знаток? Впрочем, в свое время я этим вопросом отчасти интересовался. Знаете, в чем главное преимущество знаменитых французских коньяков? Отнюдь не в качествах самой лозы, а в качествах дуба, из которого делаются бочки. Сама по себе фран-

цуская лоза, так называемая folle blanche, из которой выделяются коньячные спирты, не так уж превосходит наши кавказские, особенно армянские, сорта. Но дуб...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.